

А. С. Сгибнев

О религии Льва Толстого

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
А11

А11 **А. С. Сгибнев**
О религии Льва Толстого / А. С. Сгибнев – М.: Книга по Требованию, 2023. – 250 с.

ISBN 978-5-518-05515-5

ISBN 978-5-518-05515-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

И насколько намъ, живущимъ, удастся раскрывать себѣ и другимъ его заблужденія, соблазняющія людей, приносящія вредъ ихъ душѣ, мы тѣмъ облегчаемъ и его отягченную этимъ сознаниемъ совѣсть, а насколько мы принимаемъ въ свою душу добро, имъ въ мірѣ постоянное, то и въ его душѣ это добро возрастаетъ. Намъ кажется, что такое отношеніе болѣе соответствуетъ и собственному религіозному міропониманію Толстого, нежели модное поклоненіе ему, соединяющееся съ внутреннимъ равнодушіемъ.

Поэтому именно въ борьбѣ съ толстовствомъ, какъ религіозною доктриной, и выражается наше почитаніе Толстого, а выясненіемъ ея односторонности, ограниченности, наконецъ, противохристіанскаго ея устремленія мы хотимъ служить его же великой задачѣ, — религіознаго пробужденія современнаго общества.

Въ этихъ чувствахъ и мысляхъ возлагаемъ мы этотъ словесный вѣнокъ, посвященный памяти Толстого, со знаменіемъ креста на безкrestную его могилу.

НА СМЕРТЬ ТОЛСТОГО¹.

Когда въ осеннее сумрачное утро вагонъ съ останками Л. Н. Толстого тихо приблизился къ станціи, гробъ приняли на руки яснополянскіе крестьяне и медленно понесли по роднымъ холмамъ и доламъ къ мѣсту послѣдняго упокоенія. И казалось, что, вмѣстѣ съ ними, усталого путника, достигшаго, наконецъ, своего ночлега, принимаетъ въ материнское лоно, своими объятіями мягко заслоняя зловѣще чернѣющую вдаль яму, вся эта родная природа: и эта мерзлая, кочковатая земля, и задумчивые, кругомъ темнѣющіе, лѣса, и задумчивая матовая даль. И было особенно острое, до жути ясное чувство, насколько могуча была въ немъ природная и народная стихія, насколько слитно жилъ онъ и съ этими крестьянами, и съ этими полями и лѣсами. Какъ будто въ немъ осознала себя душа этой природы, пріоткрыла глаза отъ своей растительной дремы. Въ немъ жила первобытная душа русской природы и русскаго народа, такая, какою она была и въ отдаленную, дохристіанскую эпоху, когда славяне „умыкиваху у воды женъ“, приносили жертвы Перуну, Велесу и Стрибогу, зажигали Ярилины костры. Въ эту новь пало, затѣмъ, сѣмя христіанства, но она все-таки сохранила изначальную свою природу, осталась подпочвой нашей исторіи. Въ Толстомъ словно обнажились ея породы, и какъ будто въ ней все говорило, встрѣчая безкrestныя похороны: онъ нашъ, а мы его...

Да, Левъ Толстой — это сама наша первобытная стихія, съ ея раскрытыми и нераскрытыми задатками, со всѣмъ ея хаосомъ и мощью. Она получаетъ несравненное выраженіе въ его художественномъ творествѣ, но лишь потому, что жила въ немъ самомъ. И потому самъ онъ производилъ совершенно особое впечатлѣніе: въ немъ было нѣчто глубинное, потустороннее, но это была потусторонность не божественнаго міра, а природной души, великаго Пана... Можно ли выразить въ словѣ наши чувства при утратѣ Толстого, когда едва ли не съ молокомъ матери начали мы всасывать въ себя тѣ самые органическіе соки, проводникомъ которыхъ было и его творчество, когда оно близко и неотдѣлимо отъ насъ, какъ семья, какъ родина, какъ родная природа. Поэтому немного найдется русскихъ людей, которые не имѣли бы въ себѣ частицы Толстого, даже его не зная.

Однако въ живой индивидуальности генія эти стихійныя начала народной души соединились совершенно особеннымъ образомъ и въ этой неповторяемости дали того Толстого, котораго знаетъ весь міръ. Если бы онъ остался только художникомъ, и тогда онъ принадлежалъ бы къ величайшимъ писателямъ всѣхъ временъ и народовъ. Но вліяніе его и слава опираются теперь прежде всего на религіозную его проповѣдь, которая находится въ несомнѣнномъ и явномъ антагонизмѣ съ его художественнымъ творчествомъ. Подобно Гоголю и Достоевскому, Толстой всю свою писательскую дѣятельность подчинилъ интересамъ религіи. И здѣсь обнаружилась въ немъ уже христіанская стихія русской души, исканіе „единого на потребу“, жажда вѣчности и Бога. Въ Толстомъ мы имѣемъ предъ собой колоссальной важности историческій фактъ, полный глубочайшаго смысла: величайшій геній эпохи, притомъ не только своего народа, но и всего человѣчества, все напряженіе своихъ силъ отдаетъ исканію религіознаго смысла жизни, приносить на алтарь религіи. И эта борьба великаго духа за религіозныя цѣнности исполняетъ невольнымъ трепетомъ сердца во всемъ мірѣ, будить отъ религіознаго сна отяжелѣвшія имъ души. Такъ клекотъ орловъ въ синевѣ небесъ, такъ крики проносящихся высоко надъ нами птицъ пробуждаютъ въ душѣ тоскующее, безпокойное чувство, зовутъ съ собою въ высь, о чемъ-то напоминаютъ. Толстой стоитъ предъ міромъ, какъ живой символъ религіозныхъ исканій, какъ свидѣтель религіи, въ нашу эпоху небывалаго торжества механическаго міровоззрѣнія, апофеоза внѣшней „культуры“, поклоненія вещамъ и идоламъ. Въ борьбѣ съ этими враждебными силами онъ бросаетъ на чашку вѣсовъ всю колоссальную тяжесть своего генія, и то, что у другого, быть можетъ, было бы принято за юродство и темноту, или встрѣтило бы только пренебреженіе, въ его устахъ получало огромное значеніе, заставляло прислушиваться къ себѣ. Съ религіознымъ радикализмомъ, для котораго не существуетъ идоловъ и авторитетовъ, Толстой ставитъ вопросъ о *цѣнности культуры* предъ лицомъ религіи, или о *религіозномъ смыслѣ культуры*. Это тотъ же самый вопросъ, надъ которымъ надорвался Гоголь, которымъ всецѣло захвачены были Достоевскій и Вл. Соловьевъ, который мучаетъ и наше поколѣніе. Намъ давитъ чудовищный автоматизмъ новѣйшей культуры, мы стали ея рабами, униженно цѣлующими свои цѣпи. Намъ кругомъ обступило множество условныхъ цѣнностей, которыя

получили значеніе безусловныхъ. Наука, искусство, право, хозяйство, политика, техника, прогрессъ — вотъ тѣ самодовлѣющія цѣнности, по которымъ вывѣряется теперь курсъ жизни. Вся ихъ условность и относительность познается лишь въ исключительныя минуты жизни, — тогда, когда въ ней проносится дыханіе вѣчности, или приближается ледяная рука смерти. Относительно этихъ цѣнностей мы не даемъ воли скептической трезвости и пытающему сомнѣнію, которое такъ превозносимъ въ другихъ случаяхъ; быть можетъ, мы руководимся при этомъ ничѣмъ инымъ, какъ инстинктивнымъ страхомъ, что прорвавшееся пламя испепелить ветхую храмину и оставить насъ оголенными отъ всего условнаго и фальшиваго. Но въ эту чашу безстрашно врѣзался русскій богатырь. Надъ всей современной культурой онъ ставитъ гигантскій вопросительный знакъ, онъ спрашиваетъ тамъ, гдѣ это казалось невозможнымъ или неумѣстнымъ, и уже однимъ этимъ вопрошаніемъ обнаруживаетъ условность этихъ цѣнностей. Въ этой постановкѣ вопроса о религіозномъ оправданіи культуры имѣется нѣчто непререкаемое для религіознаго сознанія, и въ ней одной, независимо отъ содержанія отвѣта, уже заключается положительное религіозное дѣяніе.

Толстой поставилъ, далѣе, предъ христіанской совѣстью отнюдь не легкій, но всегда мучительный для нея вопросъ объ *оправданіи государства* съ лежащимъ въ его основѣ насиліемъ, и притомъ не о такихъ уродливостяхъ и явныхъ жестокостяхъ, которыя не мирятся и съ здоровой государственностью, каковы смертная казнь, физическія наказанія и пытки, но вообще о *правдѣ права*, о допустимости правового насилія, о религіозной санкціи войска, суда, тюремъ, полиціи, призванныхъ защищать и охранять правовой строй. Для весьма многихъ государство и теперь окружено мистическимъ нимбомъ и считается, какъ встарь, необходимой принадлежностью Церкви. Въ современной же религіи человекобожія явнымъ образомъ воскресаетъ античный культъ государства, какъ организациі культурнаго человѣчества, а право откровенно объявляется критеріемъ морали, лишь вмѣсто величества цезаря подставлено величество народа. Наконецъ третьи, утеравъ прежнее спокойствіе, съ смущеніемъ и растерянностью стоятъ предъ религіозной проблемой государственности. Съ безумнымъ дерзновеніемъ и геніальной односторонностью Толстой вовсе отвергъ государство, какъ зло и преступленіе. Принялъ-ли онъ на свою религіозную и просто человѣческую

совѣсть и всю тяжесть этого отверженія, вывели-ли онъ отсюда и для личной и для общественной жизни всѣ неисчислимыя послѣдствія, въ этомъ справедливо можно сомнѣваться, и этимъ значительно обезцѣнивается и самое его нападеніе на государственность. Тѣмъ не менѣе есть нѣкоторая религіозная неотразимость въ этомъ нападеніи, и гдѣ-то въ глубинѣ души, даже при самомъ рѣшительномъ непринятіи ученія Толстого о государствѣ, остается смутная тревога, гнѣздится сознание нѣкоторой высшей правды этого ученія, и ужъ во всякомъ случаѣ становится невозможнымъ наивный апофеозъ государственности. Толстой сѣялъ здѣсь сѣмена въ далекое, далекое будущее, но сѣмена эти неистребимы историческими непогодами, и уже потому, что посѣяны-то они впервые не имъ, а христіанскимъ Благовѣстіемъ на той горѣ, съ которой раздавались заповѣди блаженства, ученіе о прощеніи обидъ, о неосужденіи, о непротивленіи зломъ.

Заслуживаетъ упоминанія при этомъ, что въ конечномъ идеалѣ съ Толстымъ совпадаетъ здѣсь никто иной, какъ Достоевскій, убѣжденный государственный, а равно и Вл. С. Соловьевъ, несмотря на его энергичную полемику съ толстовствомъ, насколько оба они становятся на безусловно-религіозную, а не на исторически-относительную почву. Достоевскій въ *Братьяхъ Карамазовыхъ* (въ главѣ „о церковномъ судѣ“ устами Ивана и старцевъ) рисуеъ идеаль церковнаго анархизма, полного растворенія и упраздненія государства и права въ атмосферѣ церковной любви и единенія. Соловьевъ же послѣднимъ въ исторіи представителемъ государственности, всемірнымъ императоромъ, дѣлаеъ въ *Трехъ разговорахъ* Антихриста, чѣмъ приводится къ религіозному абсурду все государственное начало, разъ оно способно сдѣлаться прямымъ орудіемъ Антихриста. Христіанство въ своей исторіи облеклось, къ худу-ли или къ добру, тяжелыми доспѣхами государственности или, лучше сказать, оно приняло на себя эти старые, языческіе еще, доспѣхи, лишь начертавъ на нихъ крестъ. Однако въ своихъ наиболѣе интимныхъ и глубокихъ чувствахъ оно остается все-таки виѣ—государственно, начиная отъ Апокалипсиса и первыхъ христіанъ (о которыхъ недаромъ говорилъ государственный-патріотъ Цельзъ, что, если бы всѣ стали христіанами, государство сдѣлалось бы добычей варваровъ), продолжая пустынниками Египта, Сиріи, Палестины, Францискомъ и западнымъ

монашествомъ, нашими русскими пустынниками, странниками, юродивыми, „Божьими людьми“. И этого не выдумалъ Толстой, а только по своему примѣнилъ это наблюденіе въ своей практической программѣ недѣланія и неучастія. Въ своемъ стремленіи къ опрощенію онъ страшно упростилъ и эту жизненную задачу, а потому не въ силахъ оказался ее разрѣшить, ибо разрубить узелъ не значитъ его распутать. Но все-таки вопросъ такъ и остается вопросомъ для мыслящихъ христіанъ, для религіозной совѣсти.

Наибольшую религіозную непререкаемость имѣетъ, однако, другой мотивъ ученія Л. Н. Толстого, — его обращеніе къ *личной совѣсти* и къ *личной отвѣтственности* каждого. Въ механизмѣ культуры съ ея вещнымъ характеромъ и люди разсматриваются лишь въ свѣтѣ вещной законмѣрности. Они и сами, наконецъ, начинаютъ вѣрить этому и считать себя за вещи, сдѣланныя какимъ-то безличнымъ мастеромъ — силою вещей. Нужно заставить человѣка освободиться отъ этого марева, почувствовать свою духовную личность, свободную и потому отвѣтственную предъ Богомъ. Это есть то, что можно назвать духовнымъ рожденіемъ личности, и что происходитъ на самомъ порогѣ духовной жизни. Религіозному пробужденію въ нашей средѣ, скованной духовнымъ параличомъ мнимой культурности, могущественно содѣйствовалъ Толстой, и столько же своей проповѣдью, сколько и обаяніемъ своей личности. Вотъ въ какомъ смыслѣ онъ, на этотъ разъ въ полномъ согласіи и съ церковнымъ христіанствомъ, является проповѣдникомъ „личнаго самоусовершенствованія“.

На вопросъ о религіозномъ смыслѣ культуры Толстой отвѣтилъ отрицательно: культура есть зло, ибо отвлекаетъ отъ „единого на потребу“ и представляетъ собою въ дѣйствительности лишь служеніе пороку, тщеславію, лжи, сплошное идолопоклонство. И потому надо духовно извергнуть изъ себя культуру и внѣшне отъ нея освободиться. Отсюда толстовская проповѣдь опрощенія, недѣланія, неучастія, вообще всякихъ *не*. Чтобы правильно оцѣнить эту мысль, надо различить въ ней два момента: обще-религіозный и чисто-толстовскій. Душа человѣка дороже цѣлаго міра, и въ сравненіи съ жизнью души не существуетъ никакихъ безусловныхъ цѣнностей, всѣ онѣ должны быть взвѣшиваемы предъ

религіозной совѣстью. Однако этимъ еще не предрѣшается то отрицаніе культуры, которое находимъ у Толстого. Оно связано съ отрицаніемъ исторіи, какъ совокупнаго творчества людей, и съ религіознымъ индивидуализмомъ, проистекающимъ изъ его отверженія идеи Церкви. Единственною реальностью здѣсь являются лишь отдѣльныя души съ тѣмъ, что въ нихъ совершается, между ними не признается ни мистическаго, ни историческаго единства, внѣ чисто-этического общенія. При такомъ возрѣніи нѣтъ мѣста пониманію культуры, какъ совокупнаго и преемственнаго творчества людей, отверждающагося въ культурной традиціи, въ хозяйственной и государственной жизни. И вотъ на титанически поставленный вопросъ получается невѣроятной упрощенности отвѣтъ. Какъ это несоотвѣтствіе понять? Здѣсь въ душѣ Толстого обнажается иная порода, и на-ряду съ религіозной проявляется совсѣмъ другая стихія народной души, въ противорѣчій и въ причудливомъ соединеніи съ первой. Это стихія нигилистическая и анархическая, наслѣдіе степного кочевья и вольницы, задержанная аморфность. Она особенно сильна въ нашей интеллигенціи, но она сильна также и въ Толстомъ, и именно на этомъ пунктѣ встрѣтились и соприкоснулись они. И страннымъ образомъ соединяясь и чередуясь, обѣ эти столь чуждыя и различныя стихіи одновременно окрашиваютъ собой ученіе Толстого о культурѣ.

Предъ Толстымъ во всю его долгую жизнь стоялъ одинъ чисто русскій вопросъ: „что дѣлать?“ какъ праведно жить? Отсюда проистекаетъ та сторона его писательской дѣятельности, въ которой выразилось его нравственное служеніе и религіозное призваніе — быть голосомъ общественной совѣсти. За послѣднія десятилѣтія не было выдающагося событія русской жизни, на которое онъ, худо-ли, хорошо-ли, не отозвался бы словомъ или дѣломъ. Однако не всегда достаточно взвѣшиваютъ, чего стоятъ эти отклики тому сердцу, изъ котораго они вырываются. Но и въ нихъ большею частью тоже отражалась двойственность и противорѣчивость стихій, боровшихся въ самомъ Толстомъ, иногда они болѣе будоражили и волновали совѣсть, нежели ее проясняли. Бичующія слова его часто бывали мучительны для совѣсти, но вѣдь объ извѣстныхъ вещахъ и надо мучиться, и правда часто бываетъ мучительна. И въ этой власти будить засыпающую совѣсть заключается то, что объединяетъ въ положительномъ отношеніи къ Толстому многихъ людей разныхъ вѣръ и разныхъ настроеній.

Однако преклоненіе предъ мощнымъ обличителемъ неправды идетъ у многихъ и дальше. За послѣднее время входитъ въ обычай сопоставлять Толстого съ основателями великихъ историческихъ религій. Подобныя сопоставленія являются глубоко ошибочными, это даже не преувеличеніе, а просто ложь. Толстой есть *религіозный искатель*, который всецѣло поглощенъ интересами религіи и заражается ими всѣхъ, попадающихъ въ сферу его вліянія. Но ему самому дано было знать тревогу исканій гораздо больше, нежели покой и радость религіозной жизни, тихаго роста души на недвижной основѣ. Онъ не пророкъ и не святой, онъ только великій искатель, которому свойственно однако все человѣческое и „слишкомъ человѣческое“, съ исключительными подъемами, но и съ очевидными слабостями и ограниченностью. Въ его религіозномъ ученіи, т.-е. въ томъ, что именно называется „толстовствомъ“, изъ двухъ противорѣчивыхъ стихій его души, религіозной и нигилистической, безусловно преобладаетъ вторая, разрушительная. Для него такъ и остается недоступна какъ мистическая, такъ и метафизическая сторона христіанства, которое онъ понимаетъ преимущественно какъ религіозно-окрашенную этику. Въ его богословскихъ сочиненіяхъ поражаетъ, на-ряду съ крайней разсудочностью, хотя и при отсутствіи подлинной научности, какой-то религіозный эклектизмъ, механическое соединеніе элементовъ разныхъ религій, и какъ будто вовсе отсутствуетъ воспріятіе *личности* Христа въ ея единственности; отсюда и отрицаніе Его богочеловѣчества.

Потому считать религію Толстого христіанской было бы глубоко ошибочно (какъ это съ рѣзкостью и определенностью было указано, между прочимъ, въ предсмертномъ сочиненіи Вл. Соловьева „Три разговора“). Именно это отношеніе Толстого къ христіанству вызывало и вызываетъ тяжелую религіозную распрю около его имени. Отъединеніе Толстого отъ церковнаго христіанства въ основныхъ вопросахъ вѣры есть, конечно, глубокая скорбь для всѣхъ искреннихъ сыновъ Церкви, быть можетъ, кара для нихъ и предостереженіе...

Величіе религіозной личности Толстого, но вмѣстѣ и ея противорѣчивость и незавершенность, именно и выражается въ томъ, что самъ онъ никогда не могъ успокоиться и установиться на своемъ ученіи, но постоянно выходилъ за его узкія рамки. Въ извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что самъ Толстой никогда не былъ и не могъ быть только толстовцемъ, никогда не вмѣщался въ толстовствѣ, въ которое хотѣли бы загнать Толстого окружавшіе его прямолинейные фанатики его же доктрины. Оно было для него временной

формой успокоенія, камнемъ подъ изголовьемъ, условнымъ символомъ вѣры, самъ же онъ продолжалъ жить во всю ширь своей личности и со всѣми ея противорѣчіями, какъ Толстой, а не какъ толстовецъ. И вѣдь никогда же не надо забывать, что въ немъ, кромѣ догматическаго вѣроучителя, жилъ дивный прозорливецъ искусства, томился огненный духъ, вѣчно мятущійся, вѣчно трепетный и вопрошающій. И эту наиболѣе драгоцѣнную черту души Толстого, эту неумолчную тревогу исканій съ ослѣпительной яркостью символизировали послѣдніе его дни. Покинувъ родное гнѣздо, въ самую, быть можетъ, трудную, а вмѣстѣ и роковую минуту своей жизни, снова онъ устремляется туда, гдѣ бывалъ двадцать лѣтъ тому назадъ, еще въ полномъ разгарѣ духовнаго своего кризиса, въ историческую Оптину пустынь, собирается посѣщать старца. Чего онъ ищетъ наканунѣ смерти, о чемъ онъ теперь вопрошаетъ? Эту тайну своей души онъ не открылъ міру и унесъ въ могилу. Но то, что его потянуло именно въ Оптину, кажется такъ неожиданно отъ Толстого съ его непримиримостью ко всему церковному. И развѣ толстовцу нужна бесѣда со старцемъ, развѣ онъ подумаетъ о ней? Нѣтъ, но это сдѣлаетъ Толстой, этотъ умирающій Левъ, который въ глубинѣ души своей никогда не успокаивается на своемъ собственномъ ученіи, всегда мучается горней мукой въ стремленіи къ Богу. Никому невѣдомо, что зарождалось въ душѣ Толстого въ эти послѣдніе дни. Но получается впечатлѣніе, какъ будто опять начиналась въ немъ новая, трудная душевная работа, и, возможно, еще разъ ставились подъ вопросъ старыя вѣрованія. Объ этомъ возможны только догадки и предположенія, и въ этой интимнѣйшей сторонѣ своей душа его осталась закрыта даже для самыхъ близкихъ. И въ этой непонятости и неразгаданности, въ этомъ роковомъ одиночествѣ — удѣлъ генія и крестъ Толстого. Онъ былъ всю жизнь окруженъ семьей, пламенными поклонниками, друзьями. Но могла ли даже имъ открыться вполнѣ душа Толстого? И когда подлинный ликъ ея закрывался личиной прямолинейнаго догматическаго раціоналиста, ее принимали за то, что скрывалось за ней. Чувство глубокой тайны должна внушать жизнь великаго мятущагося духа. За послѣдніе годы Толстой сдѣлался предметомъ особеннаго поклоненія „всего міра“, и, конечно, нашей интеллигенціи, что такъ выпукло проявилось при празднованіи его 80-лѣтія. Но и тогда, и теперь много ли среди этихъ почитателей найдется такихъ, кому

дѣйствительно близокъ его внутренній міръ, святая святыхъ души его, его религія? Многимъ ли изъ нихъ она даже интересна? И, конечно, отъ того, предъ кѣмъ распахивались глубины человѣческаго сердца, не могло утаиться то, что очевидно всякому непредубѣжденному наблюдателю. И это впечатлѣніе — одиночества въ человѣческой толпѣ и глубокой отъ него грусти — только усилится, если подумать еще объ интимной обстановкѣ жизни Толстого. Онъ не изнемогъ до конца, и въ темномъ, но вѣрномъ предчувствіи надвигающейся смерти онъ снова отправился въ путь, уже послѣдній путь. И эта смерть въ пути символически озарила сокровенную жизнь его духа съ его неутоленнымъ алканіемъ. Не о таковыхъ ли сказано примиряющее слово въ Благовѣстіи: *блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо они насытятся* (Мѡ. 5, 6).

¹ Въ основу настоящаго очерка легла расширенная и переработанная рѣчь, произнесенная 16 ноября 1910 года въ студенческомъ собраніи и напечатанная въ *Русской Мысли*, 1910, XI.

ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВЬ¹

Больно касаться этого вопроса, но именно въ немъ не должно быть ни двусмысленности, ни недоговариванія. Между Толстымъ и людьми Церкви одновременно существовало и сильнѣйшее отталкиваніе, доходившее до взаимной вражды, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безотчетное притяженіе, какая-то близость. Догматически отношенія здѣсь очень просты и ясны. Въ своемъ вѣроученіи Толстой, несомнѣнно, отпалъ отъ Церкви (притомъ одинаково и отъ православія, и отъ католичества, и даже отъ ортодоксальнаго протестантизма). Торжественнаго „отлученія“ могло и не быть, но это само по себѣ ничего не измѣняетъ въ существѣ дѣла². Вѣра въ Христа, какъ Богочеловѣка, въ искупленіе, въ тріипостасность Божества, въ дѣйственность церковныхъ таинствъ и молитвъ, всѣ эти основы церковнаго ученія радикально отвергались Толстымъ и притомъ нерѣдко въ такой формѣ, которая не могла не производить на вѣрующихъ самага тягостнаго впечатлѣнія. Грубые и иногда злобныя кощунства надъ предметами православныхъ вѣрованій разсыпаны